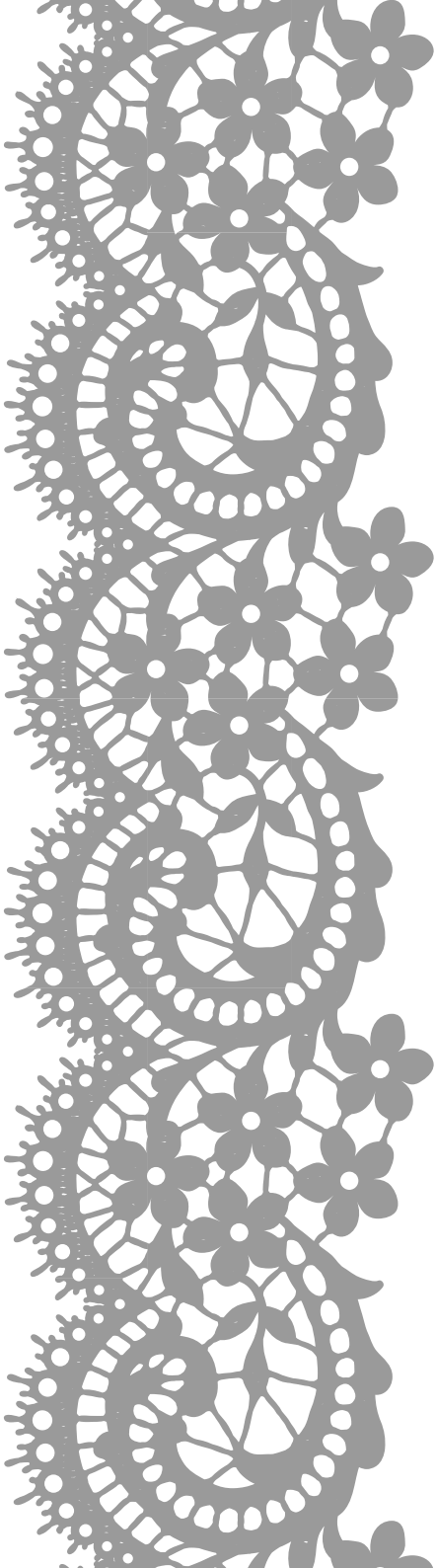

Посвящается материнской любви,
самой сильной на свете

Пролог

1. Чудо

Матвей зашел в избу, отряхнул кровянисто-алые сапоги, оглядел нехитрое убранство.

— Тетка, как вы живете-то? — спросил он, и коричневый рот растянулся в невеселой улыбке. — Далече я был, скучал по вас...

Аксинья не могла ответить племяннику, только сокрушенно пожимала плечами. Она силилась остановиться, но тело не поддавалось ей и продолжало странный обряд: и плечи совершали все более резкие движения, и боль змеилась на лопатках, сковывала спину железным ободом.

Матвей сел за стол, перекрестился на иконы, потом заметил Нюту, свернувшуюся на земляном полу.

— А с ней что? — Он подошел к девочке, перевернул скукоженное тельце. Белое лицо с синими губами не давало возможности усомниться — она видела последний сон. Стылая вечность поглотила тело, а душа отправилась на небеса.

— И ее уморила? Что ты за человек? Всех, всех уморила!

Аксинья с утробным стоном очнулась, ощупала дочь — теплая, дышит.

Все сон. Сон.

Иногда убедить себя было сложно — столь живыми были образы, что возникали в голове. Смерть матери и Матвейки, потеря родного дома забрали ее право на искупление, лишили возможности быть счастливой. Словно засунули в темную кротовую нору.

Только забота о дочери не позволяла заблудиться в сумрачном зимнем лесу меж высоких сосен. Аксинья гнала дурные сны прочь, шептала молитвы, занимала голову и руки повседневными хлопотами.

Ветер бесновался за бревенчатой стеной, сотрясал голые ветви осин, шуршал бурьяном, выросшим за окном прошлым летом. Изба Глафиры привыкла жить без хозяев. Тринадцать лет и тринадцать зим ветшала, проседала вниз, таращилась пустыми оконцами на тропу, что вела из деревушки Еловой. Огород давно порос травой, сарай и сенник зияли проломанными досками. Ни один из обитателей Еловой не решился утащить что-то из проклятого дома ведьмы Гречанки.

Осенью 1612 года Аксинья и дочь ее Сусанна, Нюта, несчастные погорелицы, переселились в пустую избу, и прошедшие месяцы оказались худшими в их несладкой жизни. Деревушка Еловая, Пермь и весь белый свет страдали от голода, разбойников и нескончаемых войн. И рассчитывать в лихую годину приходилось лишь на себя.

Аксинья прижала к себе тонкое тельце дочери, напоролась на острые лопатки. Нютка с каждым днем становилась все бледнее, хребет выступал, словно кочки на болоте, западали глаза. Недавно еще они сверкали голодом, молили о похлебке, о горсти зерна, о куске хлеба. Сейчас Нюта молчала, и глаза ее были тусклы и бессмысленны.

Аксинья обратилась в зверушку, белку или лесную мышь, что заботится лишь о жизни своей и детеныша, о сухой теплой норе и сытой утробе. Она выбросила из памяти темные кудри, белозубую улыбку, юные надежды и обугленное тело на белом льняном покрывале. Она не корила себя за грехи, не проклинала Семена Петуха, что исчез где-то на пути из Соли Камской в Москву[1]. Она

---

[1] Жизненный путь Аксиньи Ветер описаны в романах «Обмануть судьбу» (Эксмо, 2020) и «Искупление» (Эксмо, 2021).

со страхом и надеждой встречала каждый день и думала лишь о том, как накормить Сусанну.

К Филиппову посту закончились рожь, капуста, репа. К Рождественскому мясоеду Аксинья выварила старые сапоги, ремни, поршни[1]. В разгар колядок она пришла к Катерине — не кланяться, а напомнить о злодеянии Илюхи, сына Семена Петуха. Прошлой осенью девятилетний неслух пустил красного петуха и спалил дотла двор Вороновых: избу, хлев, сарай, большую часть добра, нажитого основательным Василием, отцом Аксиньи. В хлеву живьем сгорел Матвейка, мужской отросток оскудевшего рода Ворона.

Катерина, мать Илюхи, молча привела Аксинью в погреб, показала сусеки в амбаре — запасов еле-еле хватало до середины весны. Она кивнула на тощего Илюху и стриженого Ваньку, свернувшихся на печи под овчиной. Как можно было винить Катерину за то, что судьба мужниной любовницы и малолетней Нютки не волновала ее ни капельки?

Аксинья заваривала в кипятке травы: тонколистный кипрей, мать-и-мачеху, подорожник, — настаивала их на печи. Отвар пах летом и солнцем, освежал пересохшее горло, но не унимал болезненные стоны утробы, которую сводило денно и нощно. Плоть просила еды.

Ягоды шиповника и рябины размачивали в теплой водице и грызли, смаковали пресные, горьковатые ягоды. Аксинья в который раз кляла себя за пагубную забывчивость. В тот осенний вечер, когда огонь пожирал дом, она не вытащила из погреба кадушки с солеными груздями и рыжиками, лохани с моченой брусникой. Металась от сундука к сундуку в судорожном тщании спасти добро, а припасы оставила в закромах. Пожар уничтожил то, что сушила, солила, заготавливала на всю зиму.

---

[1] Поршни — кожаная обувь. — *Здесь и далее примечания автора.*

— Хоть травы уцелели, — подумала вслух и удивилась своему шипящему голосу.

Они с дочерью берегли силы и разговаривали лишь по необходимости. Тишина нарушалась только ободряющим треском дров, насмешливым воем ветра.

Аксинья раз в день выходила во двор, выливала ведро с нечистотами в яму близ повалившегося забора, чистила крыльцо, узкую тропу до того места, что было лет десять назад воротами — теперь лишь пухлый сугроб напоминал о них.

Она боялась остаться без живого тепла. К весне Аксинья начала подсчет дровяных запасов, потому не разрешала себе взять больше, чем охапку поленьев. В месяцы трескучих морозов Аксинья протапливала печь днем, закрывала волоковое оконце раньше срока, чтобы дым не уходил наружу вместе с теплом. Порой они с Нютой кашляли до слез, и с буханьем выворачивало их наружу, до самых кишок. Ночь мать с дочерью проводили нацепив всю одежду, словно луковицы в подполе. А было одежек немного: тулуп, теплая да холодная телогреи, старая беличья шуба Аксиньи, в которую она кутала дочь, два летника, медвежья шкура, добытая где-то Тошкой.

Печка уже прогорела, и последние угольки чуть потрескивали. Нюта провалилась в сон, Аксинья стояла на краешке пропасти сновидений. Она упала, но что-то вернуло ее в темную избу.

В доме сгустилась черной кошкой тьма, но по неуловимому отблеску Аксинья поняла, что утро уже наступило. Несмелое солнце обычно с трудом пробивалось сквозь толстый лед, которым было забито единственное окошко. Только к полудню изба и ее обитатели получали толику света.

Голова шумела от бесхлебья и дурных мыслей, а сквозь этот тонкий, обременительно-назойливый звон пробивался какой-то другой звук. Она приподнялась, трях-

нула головой, будто движение могло усмирить писк нескольких дюжин комаров.

Иногда Аксинье казалось, что она сошла с ума.

* * *

Последнее, что еловчане слышали о Москве, о необъятной России, внушало надежду.

— Ляхи-то в Кремле сидят, наши казачки их со всех сторон обложили. Скоро выкурят басурман да бошки им посносят, — словоугодничал староста Яков на последнем деревенском сходе в самом начале зимы.

Народ хорошим вестям не верил, потому за внушительной спиной старосты парни и мужики корчили похабные рожи и шептались:

— Княжонок из ляхов[1] на престол сел, вот те крест.

— Царство антихриста, вестимо.

— Не из ляхов он, а из демонов, тех, с рогами и копытами.

— Конец света не за горами. Митька-юродивый, знаешь, что говорил?..

За много лет неурядиц и смуты народ не просто привык к голоду и лишениям — он другого не помнил. Каждый год с неурожаями, высокими податями, болезнями сливался с предыдущим в одну сплошную слякотную дорогу, сойти с которой — значит лишиться жизни. Но и продолжать путь представлялось многим сплошной маетой.

Еловское кладбище каждый год ширилось, захватывало новые земли у чахлого березняка, топорщилось кособокими крестами. Покойников не отпевали, поминки не устраивали... Все силы отдавались живым.

---

[1] Речь идет о Владиславе, сыне Сигизмунда III. Он являлся наследником Речи Посполитой, а в 1613 году был провозглашен Великим князем Московским, правителем России.

* * *

Нюта уткнулась лицом в теплый бок матери. Аксинья поддернула одеяло, чтобы оно накрывало дочь до самой макушки. За избой кто-то ходил, молчаливый и настойчивый.

Зверь?

Человек?

Тать?

Еловчане редко появлялись на пороге ее дома, две версты[1] до избы знахарки казались в зимнюю бескормицу дорогой, которую не осилить.

Молчаливые гости разверзли уста.

Двое или боле мужчин переговаривались меж собой. Сколь ни напрягала она слух, ничего не могла разобрать. Скрипение снега, шорохи, скрежет. Будто зверь скреб когтями по доскам. Кажется, гости расчищали подступ к двери, заметенной выпавшим за ночь снегом.

Резкий стук в дверь. Аксинья вздрогнула и, соскользнув с лежанки, схватила рубаху и душегрею[2]. Она металась по избе испуганной птицей. Подхватила на руки дочь. Осоловелая Нюта таращила глаза и пыталась что-то пискнуть. Мать спрятала ее в сундук, приговаривая:

— Сиди тихо, ни слова чтоб я не слышала. Тихо!

Незваные гости затарабанили в дверь, принялись долбить ее подкованными сапогами. Грохот отдавался в груди, сердце билось в том же настойчивом ритме. К Аксинье вернулись силы, будто влил кто-то в утробу мясной навар — страх заставлял жидкую, голодную кровь шибче бежать по жилам.

— Иду я, иду, — сказала Аксинья.

---

[1] Верста — 1066,8 м.

[2] Душегрея — женская одежда, которая надевалась поверх сарафана, кофта; доходила до талии или поясницы.

Она спрятала за спину нож, откинула засов и распахнула дверь. Та поддалась с возмущенным скрипом.

— Здравствуй, хозяйка. Уморились, пока дорогу к терему твоему расчищали. А что ты, голуба, такая неприветливая?

Аксинья угрюмо смотрела на незваных гостей и берегла слова, пыталась понять, кто нарушил ее покой. Два крупных мужика еле поместились в хилой избенке. Один — тот, что затеял разговор, — лет тридцати от роду, бритый, будто нерусь, говорливый сверх меры. Второй мужик казался куда серьезнее своего товарища, лет на десять постарше, основательный, с усами и полуседой бородой. Оба в добротной, хоть и не новой одеже. Не простые крестьяне, а служилые[1] казаки или слуги богатого хозяина.

— А что руку-то правую прячешь? Хлеб-соль забыла предложить? — Бритый ловко зашел Аксинье за спину. Она, кулема, и повернуться не успела.

— Зря так с людьми добрыми обходишься, — покачал он головой, разглядывая нож в ее руке.

Мужики с усмешкой смотрели на Аксинью, оглядывали ее затрапезный наряд, спутанные волосы, впопыхах не покрытые платком. Впору ей смутиться, запунцоветь, прощения слезно просить.

— А что мне вас привечать?

— Эх, голуба, не повышай голоса. Мы с добром пришли, — оскалился бритый. Аксинья увидела, что вместо двух передних зубов сияла дыра. Потому разговаривал он так, будто жевал гороховую кашу.

— Не надо мне от вас ничего, ни худа, ни добра. Идите туда, откуда пришли — и на том разойдемся.

— Бойкая ты! Даром что еле на ногах держишься. Не можем сразу уйти, поручение у нас, серьезное поручение.

---

[1] Служилые люди — лица, которые несли военную или гражданскую службу в пользу государства.

Он замолчал, уставился на своего бородатого спутника. Кажется, спрашивал у него совета: мол, дальше-то что делать?

— Дай дух перевести, умаялись от деревни по свежему снегу-то идти, — спокойно сказал бородатый.

Аксинья занялась растопкой печи. За укладкой дров в разверстый зев она пыталась успокоиться.

— Растапливай, да поскорее... Мороз до самых костей жжет, — торопил бритый.

— Ребенок у тебя, что холодом-то его моришь? — поддержал бородатый.

Женщина не отвечала. Она вытащила из холщового мешочка трут, кресало, похожее на витой бублик, тяжелый кремень и настороженно посмотрела на гостей. Подвинув лавку к печи, мужики мирно расселись, стянули на пол немалые заплечные сумы — мешки из рогожи с крупной вышивкой на пузатых боках.

Аксинья била кресалом о кремень, но непослушная искра не падала на жженый огрызок льна, что служил ей трутом. Руки тряслись, кресало вихлялось, и Аксинья стукнула себя по пальцу, но даже не поморщилась. Она с трудом вытряхнула из мешочка кусок трута побольше.

— Чего трясешься, голуба? — возмутился бритый, вырвал из ее рук кресало и кремень, вмиг высек искру на льняной огрызок, поднес к дровам. Скоро изба наполнилась горьковато-пьянящим запахом сосновых дров и робким теплом.

Аксинья налила в горшок воду, засыпала траву, поставила посудину поближе к огню.

— А нам отвара своего нальешь, голуба?

— Налью.

«И белены бы в придачу», — добавила в мыслях Аксинья.

Гости не собирались уходить, ждали молча. Бородатый даже задремал, прислонившись к закопченной стене,

а вскоре сон сморил и бритого. Аксинья разглядывала мужиков: на головорезов не похожи. Лица ясные, без печати порока и гнева. Давно приметила она, что дурные помыслы и поступки оставляют борозды на лбу, выворачивают губы, морщат лицо, превращая его в истертую подошву.

Аксинья налила в канопки[1] отвар, подошла к мужикам, кашлянула. Они не желали покидать сонную опушку. Аксинья стукнула по плечу бритого: «Эй». Оба очнулись от дремы, благодарно кивнули, не ведая о темных мыслях хозяйки. Пока мужики с блаженным видом тянули горячее варево, сжимали руками глиняные кружки, Аксинья подбросила в печь поленьев: холод не спешил покидать избу.

Бритый прокашлялся, привлекая внимание Аксиньи:

— Ты с дочкой живешь, голуба? Покажи нам ее, девку свою.

— Какая дочка? Одна я живу.

— Да знаем мы все. Ты не бойся, мы худого не сделаем, — мужик с полуседой бородой говорил мягко, точно друг.

— Да зачем вам дочка моя? — с надрывом прокричала Аксинья. — Нет ее здесь, нет!

— А если мы посмотрим, голуба? — Бритый разозлился. — Прятаться особо негде, изба — крохотуля.

— Голуба, ты бабу-то не пугай. Она на нас, вишь, как на людоедов смотрит, — окоротил его бородатый.

— Тощая такая... Кости глодать — не любитель, — захохотал бритый.

— Ты его, балабола, не слушай. Шуткует он. Дочку свою покажь нам... Такое поручение у нас: дочь увидим — дело сделаем...

— Сказала я...

---

[1] Канопка — кружка (*устар.*).